

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО Я. Б. КНЯЖНИНА

Обзор М. Габель

«Наш Эврипид», «Наш Расин», «Северный Расин»—так восхваляли Княжнина современники, полагая, что он, как никто другой, «с равным совершенством владел кинжалом Мельпомены и смеющейся маскою Талии»; он, ученик Сумарокова, не только сравнялся со своим учителем, но во многих отношениях превзошел его. Впрочем слава Княжнина быстро тускнела. Казавшаяся современникам большим художественным достоинством близость писателя к великим драматургам-классикам уже в пушкинскую эпоху расценивалась как подражательность, за которую не ощущалось живой творческой силы. Меткое и острое слово Пушкина, брошенное им в «Евгении Онегина» и перефразировавшее Крыловского Рифмокрада, стало популярной характеристикой писателя: «переимчивый Княжнин». К середине XIX в. живое читательское отношение к Княжнину умирает; он перестает возбуждать эстетические эмоции, не ставши фактом той литературы, которая, вдохновляя и волнуя иные поколения, переживает свою эпоху. Смирдинское издание сочинений писателя (1847—1848) не подогрело интереса к нему, и историкам литературы, писавшим о нем в 50-х годах (Галахову, Стоюнину), пришлось пояснять свой научный интерес к Княжнину отнюдь не актуальностью писателя в XIX в., а его значением для второй половины XVIII в. Казалось бы, Княжнин умер как писатель, отойдя в историческое прошлое литературы. Но пройдет каких-нибудь двадцать лет, и начнется новая его жизнь. На страницах «Русской Старины» в 1871 г. появится его трагедия «Вадим Новгородский», при жизни автора не напечатанная, а по смерти его вырванная со страниц «Российского Феатра» и сожженная по сенатскому указу. Она даст толчок многочисленным суждениям о трагедии, очень часто противоречивым, и послужит материалом для создания легенды о Княжнине-революционере. Эта буржуазная легенда, менявшая дворянский облик писателя, спокойно доживет до наших дней, попав даже в школьные пособия. Литературное наследие Княжнина нуждается в пересмотре. Кто прав—современники, видевшие в нем писателя, блюстителя дворянских интересов, верноподданного Екатерины II, не раз воспевавшего царские достоинства и милости, или та читательская группа, которая почти через сто лет усмотрела в нем революционера, ярого республиканца, чуть ли не якобинца?

Чтобы судить о правильности раздела Княжнинского наследства между дворянской и буржуазной литературой, надо пересмотреть его; следует хорошо представить себе его состав. Существующие четыре собрания сочинений Княжнина в настоящее время являются библиографической редкостью. Первое издание было подготовлено автором, поднесено им Екатерине II и по ее приказанию напечатано в 1787 г. в четырех частях. Оно легло в основу всех последующих, повторивших его разбивку материала: трагедии, комедии, комические оперы, стихотворения. Второе издание 1802/03 г. дополнило первое пятым томом, добавленным, по сообщению первого био-библиографа Княжнина («Улей» Анастасевича, 1811 г., № IX), сыном писателя. Третье издание 1817/18 г. наиболее полно; оно подводит итог всей литературной деятельности писателя в биографической статье первого тома. Два первых тома заключают шесть трагедий Княжнина («Дидона», «Титово милосердие», «Росслав», «Владисан», «Владимир и Ярополк», «Софронисба»); третий том—четыре комедии («Хвастун», «Чудаки», «Неудачный примиритель или без обеда домой поеду», «Траур или утешенная вдова»); четвертый том—четыре комических оперы («Сбитенщик», «Несчастье от кареты», «Притворно сумасшедшая», «Мужья—женихи своих жен») и мелодраму («Орфей»); пятый том—мелкие сочинения в стихах и прозе, по сравнению

со вторым изданием дополненные рядом лирических стихотворений, басен, сказок и прозаических произведений. Издание открывается стихотворением-посвящением Екатерине II. Его не было во втором издании. Издатель, возможно потому, что в издании принимал участие сын Княжнина, помня не так давно произведенную Екатериной суровую расправу над «Вадимом Новгородским», привлечшей к допросу родственников писателя, не счел удобным вносить в издание панегирик императрице. Включение его в издание 1817/18 г. вполне понятно потому, что оно стремится быть памятником, который воздвигает дворянство своему писателю; биография обходится полным молчанием злоключения умершего писателя с «Вадимом Новгородским». Издатель хочет показать читателю Княжнина, украшенного «сиянием имени бессмертна» Екатерины, ее «вниманием удостоенного» и верного слугу престола. В этом отношении интересна биография Княжнина, открывающая первый том, написанная в форме панегирика, весьма небогатая фактами и выбирающая из них лишь те, которые характеризуют Княжнина в его отношении к Екатерине. «Одобрение монархини по поводу «Дидоны» как драгоценный венок украсило молодого автора». «Премудрой Екатерине угодно было видеть на нашем собственном языке изображение великого Тита, как совершенное подобие ангельской души ее», и для этой цели признан был самым подходящим Княжнин; трагедия была готова в три недели, и «Екатерина изъявила благоволение свое к талантам писателя подарком осыпанной бриллиантами табакерки, на коей вензель с бессмертным ее именем стоирует более возвеличить награду сию». Княжнин, увидя, «сколько он много принес удовольствия своим согражданинам», решил собрать свои сочинения, и «премудрая монархиня приняла с благоволением труды его». В этом елейном тоне биограф курит фимиам Екатерине и Княжнину, заслужившему ее милости. Перед нами весьма определенная и достаточно ярко выраженная точка зрения на писателя дворянского, придворного, работавшего с успехом по заказу Екатерины и ее приближенных. Круг деятельности писателя достаточно ограниченный; в нем нет ни одной червоточины; и конечно не может речи идти о каких-либо республиканских его настроениях.

Четвертое издание Смирдина 1847/48 г. в двух томах, незначительно изменив распределение материала третьего издания, без всяких дополнений перепечатало его, не поместив лишь биографии: оценка писателя, сделанная в ней, устарела и не могла удовлетворить читателя середины XIX века.

Все указанные издания конечно не претендуют на научность; они дают лишь основной материал, не отличающийся исчерпывающей полнотой. В 1866 г. в № 11—12 «Русского Архива» были напечатаны материалы для полного собрания сочинений Княжнина, среди которых были указаны «Вадим Новгородский», «Ода на бракосочетание великого князя Павла Петровича с великою княгиней Натальей Алексеевной», изданная в 1773 г.; переводы трагедий Корнеля 1779 г.—«Сид», «Смерть Помпея», «Цинна»; «Генриады» Вольтера, 1777 г.; «Граф Коминж» («Несчастные любовники или истинные приключения графа Коминжа, наполненные событий жалостных и нежные сердца чрезвычайно трогających», с фр. П., 1771), «Идиллии» Геснера, печатавшиеся в «Санктпетербургском Вестнике», «Записки историографические о Море» (с итальянск., 2 ч. П., 1769).

Следует думать, что этот дополнительный список не привел в полную известность литературного наследия Княжнина. Нет полного списка его переводов, а между тем биографы говорят, что он переводил Крепильона; не полон состав его лирических произведений—третье и четвертое издания дают всего-на-все двадцать восемь лирических стихотворений, басен, сказок, тогда как Новиков в своем «Опыте исторического словаря» 1772 г. сообщает, что Княжнин уже известен рядом стихотворений и трагедией «Дидона», «которая позволяет ожидать в нем хорошего трагического стихотворца». Журнал «Улей», делающий о нем самую раннюю библиографическую разведку, сообщает о первом его произведении «Ода к Икару», написанном еще в годы учения, о найденных после смерти Княжнина отрывках из поэмы о Петре Великом и первом монологе из трагедии «Пожарский», о переводе стихотворения «Письмо графа Коминжа к матери», напечатанном в 1-й части «Модного ежемесячного издания» 1779 г. Но и эти справки не могут считаться полными. Дело в том, что у Княжнина были рукописные произведения, судьба которых связана с судьбой «Вадима Новгородского». Не раз исследователи рассказывали историю этой трагедии, но кое-что придется напомнить из нее, так как она дает некоторый дополнительный материал к суждению о характере литературного наследия Княжнина. После смерти писателя опекун детей его Чихачев обнаружил среди бумаг несколько ненапечатанных произведений и показал рукописи петербургскому книгопродавцу Глазунову, который и купил их. Среди рукописей была трагедия «Вадим Новгородский», написанная еще в 1789 г. и переданная автором для постановки директору

придворного театра Стрекалову, но вскоре взятая им обратно, так как она оказалась неподходящей к моменту: во Франции началась революция. Глазунов показал купленные им рукописи президенту Российской Академии кн. Дашковой, которая и приказала напечатать трагедию в типографии Академии Наук отдельно и в 39-м томе «Российского Феатра». Трагедия показала Екатерине и ее приближенным слишком «язвительною» (*mordante*) против монархической власти, как рассказывает в своих «Записках» Дашкова. Была приостановлена продажа трагедии, и началось по поводу нее следствие: допрашивали Чихачева и старших сыновей Княжнина, интересуясь, действительно ли автором трагедии был их отец, а книгопродавца Глазунова взяли под арест. Сенату предложено было рассмотреть трагедию, так как в ней «помещены некоторые слова, не токмо соблазны подающие к нарушению благосостояния общества, но даже есть изращения против целости законной власти царей»... Сенат, рассмотрев книгу, вынес решение: «Оную книгу, яко наполненную дерзкими и зловредными против законной самодержавной власти выражениями, а потому в обществе Российской империи нетерпимую, сжечь»... («Русская Старина» 1871, т. IV). Вполне естественно, что первое издание «Вадима Новгородского» стало величайшей редкостью. «Вадим Новгородский», трагедия в стихах, в пяти действиях, сочинена Як. Княжнинным. В С.-Петербурге, при императорской Академии Наук, 1793 г., in 8, стр. 73», как свидетельствует М. Лонгинов («Русский Вестник» 1860, т. 25, ч. 2, февраль), встречается чаще, чем издание «Вадима» в 39-м томе «Российского Феатра». Он сообщает о двух полных экземплярах его: в библиотеке Эрмитажа и у С. Д. Полторацкого. При ауто-да-фе пострадал не только «Вадим», но и соседние с ним пьесы 39-го тома «Российского Феатра». Несмотря на уничтожение трагедии, она получила распространение. Так С. Глинка, один из немногих, кто, зная лично Княжнина, рассказал о нем в своих «Записках» (изд. редакцией журнала «Русская Старина», СПб., 1895), сообщает, что в 1795 г. его сокровищем был «Вадим» и другое изъятое Екатериной произведение «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева.

Во время катастрофы, постигшей «Вадима Новгородского», могли погибнуть и другие произведения Княжнина, так как генерал-прокурор гр. Самойлов, предложивший московскому главнокомандующему кн. Прозоровскому допросить книгопродавца Глазунова и отобрать у него непроданные экземпляры трагедии, предписал изъять и другие сочинения Княжнина, если в них окажутся «нелепые изречения» или «если и без таковых изречений покажутся сумнительны»,—директива достаточно широкая, чтобы испуганному начальству не заняться изъятием всего, что подвернется под руку у крамольного писателя. Тот же Глинка, правда, очень глухо, свидетельствует о том, что у Княжнина были и при жизни неприятности из-за одного произведения. «Предполагают, что рукопись его под заглавием «Горе моему отечеству», попавшая в руки посторонние, отуманила последние месяцы его жизни и сильно подействовала на его пылку чувствительность. В этой рукописи страшно одно только заглавие. Я читал несколько черновых листов. Главная мысль Княжнина была та, что должно сообразоваться с ходом обстоятельств и что для отвращения слишком крутого перелома нужно это предупредить заблаговременным устройством внутреннего быта России, ибо Французская революция дала новое направление веку. Такую же почти мысль изложил он в трагедии «Росслав» и в некоторых других местах сочинений своих. Вероятно, что рукопись умышленно или неумышленно перетолкована была людьми пугливыми, которые видят страх там, где его нет, а не видят его там, куда он действительно затеснился... Патристические, но не дерзновенные мысли Княжнина оправданы были событиями, быстро изменившими прежний мир политический»... Сообщение Глинки чрезвычайно интересно; при скудости всякого рода источников для биографии Княжнина оно не может быть проверено, но все же оно весьма знаменательно, указывая, с одной стороны, на рукописный материал Княжнина, а с другой—обнаруживая, что «Вадим Новгородский» и его история имеют прецедент в рукописи «Горе моему отечеству».

Нам пришлось указать на повидимому безвозвратно погибшие рукописи Княжнина. Но вместе с тем мы имеем возможность отметить и одну сохранившуюся рукопись. Так в Ленинской библиотеке в Москве имеется рукопись его трагедии «Ольга»—№ 52 (2968)—«Сборник списков с оригинальных и переводных драматических произведений»: 1. «Ольга», трагедия Княжнина. 2. «Альвина», пер. Фонвизина. 3. «Заира», пер. Дубровского. 4. «Корион» (из Грессе) Фонвизина. 5. «Философы», пер. Ал. Х. в 3 д. 30 апреля 1773. 6. «Ученая Шайка», ком. в 3 д., соч. Ф. Эмина (см. отчет Моск. Рум. Музея 1883—1885, М., 1886, стр. 33). (Сообщено мне об этой рукописи А. И. Белецким, передавшим мне и копию; за сообщение и список трагедии приношу ему мою искреннюю благодарность.) В той же Ленинской библио-

теке имеется и два письма Княжнина к Гогелию от 26 мая и от 25 июля 1788 г. по поводу издательских дел писателя (за указание благодарю И. В. Сергеевского).

Кара, постигшая «Вадима», послужила к его известности; из всех произведений Княжнина она единственная трижды была напечатана в позднейшее время—в «Русской Старине» 1871, т. III, только с пропуском четырех строк, начинавшихся со слов: «Самодержавие повсюду бед содетель...», затем Бурцевым в его «Описании редких российских книг», ч. I, СПб., 1897 с тем же пропуском и наконец полностью Саводником с его предисловием в 1914 г. Правда, посчастливилось еще одному произведению Княжнина—комической опере «Сбитенщик», включенной в сборник «Комическая опера XVIII в.» с предисловием и под редакцией И. Розанова и Н. Сидорова. К-во «Польза», М., 1913 г. Универсальная б-ка № 588—589.

«Вадим Новгородский» вызвал интерес к себе исследователей; все творчество Княжнина, правда, весьма мало изученное, не привлекало внимания ученых в той степени, в какой остановила его на себе уничтоженная Екатериной трагедия (Лонгинов, Ефремов, Стоюнин, Саводник, Замотин, Ю. Веселовский, Сиповский), при чем всех интересует один вопрос: почему произведение вызвало такую бурю негодования у Екатерины II, хотя ни в теме своей, ни в образах оно не давало ничего неожиданно нового для литературы XVIII в.? Социальная функция пьесы не разъяснена исследователями, при чем существует две, одна другую исключают интерпретации произведения: обе сложились в эпоху первого печатного появления «Вадима»—в 1793 г. Кн. Дашкова, напечатавшая его, не усматривает в произведении «ничего предосудительного ни по мыслям, ни по языку для самодержавия, так как развязкой пьесы служит торжество монарха над Новгородом и бунтом» (см. Ефремов, «Русская Старина» 1871 г., т. III, стр. 728). Иную оценку дала Екатерина, при чем ее мнение не было единичным. «Трагедия—набат,—говорит митр. Евгений («Словарь русских светских писателей», 2-е изд., М., 1845),—Вадим—республиканец, восстающий против самодержавия». Эти две точки зрения сожительствоуют до наших дней: Лонгинов, Ефремов, Ю. Веселовский, Саводник считают произведение невинным и уничтоженным лишь в испуге перед Французской революцией. Другая группа (Замотин, Сиповский) полагают, что произведение для своего времени политически опасное и дает материал для суждения о росте освободительных идей в конце XVIII в. «Вадим—яркий образ свободолюбца» (Сиповский), «Брут, остающийся даже и в момент своей смерти на высоте своего республиканского призвания» (Замотин). Трагедия Княжнина дает образец того, как театр XVIII столетия делался «школой, в которой пробовывались освободительные идеалы, он тоже в сознание русских людей внедрял новые понятия о свободе, равенстве, религиозной терпимости», т. е., добавим от себя то, чего не сказал автор этих слов, Сиповский,—буржуазно-либеральные идеи, и таким образом Вадим воспринимается им как буржуазный революционер.

Итак, с одной стороны, трагедия—апофеоз монархизма; с другой—республиканская пропаганда. Надо признать, что противоречие это вытекает из беспочвенности методологических установок исследователей; путь, взятый ими в изучении Княжнинского произведения, до наивности прост: базой своих социологических объяснений они делают свои субъективные впечатления от персонажей: Рурик кажется им симпатичнее Вадима, а этого достаточно для них, чтобы усмотреть монархические тенденции в пьесе. Понятно, что читательское впечатление симпатичности героя критерием объективности суждения быть не может. Выдвигается развязка трагедии; автор заставляет Вадима погибнуть, а Рурику дарует жизнь; Вадим наказан за свое свободолюбие; следовательно, автор—защитник самодержавия. Примитивность такого подхода выступает очень решительно; следовало бы осветить характер развязок в классической трагедии, чтобы утверждать их карающий и обличающий характер. Независимо от отношения автора к герою в классической трагедии главный трагический герой, протагонист, гибнет чаще, чем антагонист. Например у Николева в «Сорене и Замире» Сорена, желая убить Мстислава, нечаянно убивает Замира, после чего кончает с собой. Гибнут первые герои трагедии, а тиран Мстислав остается жить. Подобная же развязка в трагедии Майкова «Фемист и Иеронима»: тиран, захватчик власти, Магомет убивает невинную Иерониму, ее возлюбленный кончает самоубийством, а Магомет остается жить. Так и в трагедии Княжнина—трагическая гибель постигает первого героя, его противник остается жить. Наконец третий момент, обращающий внимание в методе интерпретаторов «Вадима»,—полная беспочвенность их социологических истолкований, характерная для буржуазных социологов: ими устанавливается отвлеченная шкала роста политического самосознания в XVIII в. (Сиповский) или шкала прогресса либерализма от XVIII в.

к 20-м годам XIX в. (Замотин), устанавливается вне классовой борьбы, вне тех социальных условий, которые могли вызвать к жизни республиканские идеи. «Вадим» лишь звено в этом, неизвестно чем predetermined прогрессе освободительных идей. Становится вполне понятным, что при такой методологической установке разъяснение классовой направленности трагедии невозможно. Трагедия XVIII в., столь абстрактная по своей форме, отнюдь не была отвеченной по своей внутренней сущности, насыщаясь живым политическим содержанием. Она не раз давала назидания монархам в том, как управлять, при чем всегда проводила в этих наставлениях определенную классовую точку зрения. Недаром Екатерина хотела, чтоб в милосердном, прощающем своих врагов Тите видели именно ее: она пропагандировала в трагедии ту форму дворянского самодержавия, которая установилась во второй половине XVIII в. Живое политическое содержание и в «Вадиме». Это — политический трактат-памфлет, скрытый под формой трагедии, вышедший из среды, оппозиционной Екатерининскому самодержавию, поддерживаемому средним помещичьим дворянством, дворянской аристократии и являющийся политическим средством в борьбе аристократической фронды с деспотизмом конца XVIII в. Как политический трактат памфлет «Вадим» перекликается с политически оппозиционной публицистикой XVIII в., в частности с произведениями Щербатова «О повреждении нравов в России», с его «Письмом к вельможам правителям государства», «Оправданием моих мыслей и часто с излишнею смелостью изглаженных слов», с «Разными рассуждениями о правлении».

Словесный материал трагедии в своем сыром виде публицистичен. Это отнюдь не значит, что стиль трагедии — стиль публицистики XVIII столетия. Публицистичность словаря — в усиленном употреблении политических и государственных понятий, при чем эта тенденция у Княжнина углубленнее, чем в любой трагедии XVIII в.: самодержавие, самодержавная власть, самодержавно царство, самовластие, царь, держава, трон, престол, скипетр, тиран, вельможи, граждане, граждански силы, народ, общество, уставы, законы, свобода, вольность, рабство, раб, рабская душа. В словосочетаниях обращает внимание прямое значение этих слов-понятий, а не метафорическое; они употреблены именно как понятия: «самовластия... следства»; «народ... уставы подавал»; «вельможи... царям законы подавали»; «спаси отечество»; «граждански слабы силы», «бедство сограждан», «вольность сограждан»; «отдал власть»; «я гражданин, хотел лишь только гражданина»; «спаситель общества» и т. п. Словесная тенденция трагедии к публицистичности не исключает использования в трагедии обычных поэтических средств классического стиля (олицетворение, перифраза и т. д.); насыщенность языка публицистическим элементом не одинакова; она значительнее в речах Вадима, Пренеста — I действие; в монологе Пренеста — II действие; в речи Рурика — V действие. Концентрация публицистического словесного материала именно в этих местах вполне обнажает тенденцию трагедии, превращая ее в политический трактат; особенно резко выступает эта особенность при сравнении с тематически сходной трагедией Николева «Сорена и Замир», где политическое значение слова скрыто метафорической игрой слов: тиран — монарх — тиран — любовник. Это второе значение (любовное) слова «тиран» уводит от прямого его понимания, затушевывая обличение самодержавия, и пьеса не показала современникам столь опасной и дерзновенной, как «Вадим».

Как политический трактат трагедия представляет собою спор о формах правления и преимуществах власти вельмож, аристократического правления над неограниченной монархией; защита и пропаганда аристократической формы правления, как и критика самодержавия, — в речах Вадима и Пренеста; критика власти вельмож и апология самодержавия — в речах Рурика.

Являясь ярым противником самодержавия, Вадим готов все же его признать в том случае, если монарх делит свою власть с вельможами — единственными защитниками свободы; иначе неограниченная монархия приведет к рабству граждан; но каких граждан? Тех же самых вельмож, о вольности которых и печется Вадим.

Что вижу здесь? Вельмож утративших свободу,
В подлейшей робости согбенных пред царем
И лобызавших под скиптром свой ярем.

Теория, высказанная Вадимом, идеологически вполне соответствует политическим воззрениям той группы дворянства, именно дворянства высшего, которое в течение всего XVIII в. боролось за власть с самодержавием, поддерживаемым средним дворянством. Высказывания Вадима созвучны политическим взглядам дворянского оппозиционера екатерининского времени Щербатова, утверждающего, что «нечего прекраснее» аристократического правления («Разные рассуждения о пра-

влении». Соч., т. I, изд. кн. Б. С. Щербатова, СПб., 1896, стр. 338—339). И Вадим, и Щербатов, защищая власть вельмож как лучшую, полагают, что она легко может выродиться и повести к злоупотреблениям и неурядицам, если вельможи обуреваемы будут честолюбием, гордынею и завистью. Интересно сравнить одно из высказываний Щербатова о том, что аристократическое правление «можно почесть совершенным, если бы люди могли укрощать их страсти; но сия только мудрая форма правления, какова она, если ее в тонкость рассмотреть. Сии столь мудрые люди, сочиняющие сенат, также бывают заражены честолюбием и собственно к себе любовию; каждой, хотя и равен в Сенате, однако хотел бы властвовать и чтобы его голосу предпочтительно пред другими последовали» («Разные рассуждения о правлении», стр. 339—340) со словами Вигора, в которых указаны те же причины, дискредитирующие правление вельмож:

Вельможи многие к злодейству видя средство
И только сильные отечества на бедство,
Гордыню, зависть, злость, мятеж ввели во град.
Жилище тишины преобразилось в ад;
Святая истина отселе удалилась;
Свобода, встrepетав, к паденью наклонилась;
Междоусобие со дерзостным челом
На трупах сограждан воздвигло смерти дом.

Противник Вадима Рурик не столько выступает теоретически в защиту неограниченной монархии, сколько указывает на свои «добродетели» монарха, дающие ему право неограниченной власти («кротость», «щедрота»; он не был зла «содетель», «единой правды чтя священнейший устав» и т. д.). Рамида, влюбленная в Рурика, признающая в нем «добродетели» монарха и видящая в нем «спасителя граждан», тем не менее предлагает ему разделить свою власть с вельможами; ни Рурик, ни его защитница Рамида не дают апологии самодержавия как лучшей формы правления, а дают лишь апологию Рурика как хорошего монарха. Враги Рурика тоже признают его достоинства, но они не верят в его «добродетель», потому что борются не с человеком, а со строем, портящим правителя и превращающим самодержавие в тиранию, в деспотию, аргументируя таким способом против самодержавия. Ср. речь Пренеста во II действии, явл. 4-е

Великодушен днесь, он кроток, справедлив,
Но укрепя свой трон, без страха горделив,
Коль чтит законы днесь, во всем равняясь с нами,
Законы после все и нас поперет ногами.
Проникнув в будущее вы мудростью своей,
Не усыпляйтеся блаженством власти сей:
Что в том, что Рурик сей героем быть родился,
Какой герой в венце с пути не совратился.
Величья своего отравой упоен —
Кто не был из царей в порфире развращен.
Самодержавие повсюду бед содетель,
Вредит и самую чистейшу добродетель
И, невозбранные пути открыв страстям,
Дает свободу быть тиранами царям.
Возрите на владык вы разных царств и веков,
Их власть — есть власть богов, а слабость — человекoв».

со словами Щербатова: «Но коль мало есть таковых монархов, которые, имея уже вышнюю власть, быв склонены честолюбием, разными страстями, а паче сим ацким чудовищем (т. е. лестию придворных) не покушаются достигнуть до самовластия» (назв. соч., стр. 338).

Речь Пренеста, заключающая критику монарха, неизбежно становящегося деспотом, в 1793 г., в год напечатания трагедии, не была лишь теоретическим рассуждением, а звучала достаточно злободневно, воспринималась как памфлет, направленный против Екатерины и ее самовластия со стороны дворянской оппозиции. Монолог Пренеста снова полон совпадений с Щербатовым, с его сочинением «О повреждении нравов в России». Рурик, иноземец, вступает на престол во время возмущения вельмож. «Не рожденная от крови наших государей, жена свергнувшая своего мужа возмущением, [и] вооруженной рукою, в награду за столь добродетельное дело, корону и скиптр Российской получила» (соч., т. I, стр. 226). Щербатов, как и Княжнин у Рурика, находит у Екатерины «добродетели»: она «качествами

достойна править толь великой империей», при чем, как Рурик, вступив на престол, «не учиняет жестокова мщениа всем тем, которые до того ей досаждали». Переходя к недостаткам Екатерины, Щербатов перечисляет те именно, которые отметит и Пренест. «Общим образом сказать, что жены более имеют склонности к самовластию, нежели мужчины; о сей же со справедливостью можно верить, что она наипаче в сем случае есть из жен жена. Ничто ей не может быть досаднее, как то, когда, докладывая ей по каким делам, в сопротивление воли ее законы поставляют и тотчас ответ от нее вылетает: разве я не могу, не взирая на законы сего учинить?» (стр. 235). Полное соответствие словам Щербатова в «Вадиме».

Представьте, я сказал, вы смертных сих богов,
В надменности свою законом чтущих волю,
По гнусным прихотям влекущих нашу долю
И первенство дая рабам своих страстей,
Пред нами тот велик—кто паче всех злодей.

«Первенство рабам своих страстей» Екатерина неоднократно давала, как это хорошо известно; трагедия несомненно должна была ощущаться как политический памфлет, вышедший из лагеря аристократии, лишенной политических прав и власти, оппозиционной к самовластию Екатерины, к ее бюрократическому самодержавию; и здесь кроются причины разразившейся над трагедией грозы. Тем более для современников был прозрачным политический смысл трагедии, что Княжнин использовал в своей пьесе сюжет, незадолго перед тем появившегося «Исторического представления, без сохранения феатральных обыкновенных правил, из жизни Рурика» Екатерины II, где Вадим охарактеризован противоположно Княжнинскому Вадиму. Он незаконно посягает на власть Рурика, вопреки воле Гостомысла, завещавшего ему не Новгород, а «славянские маенности», удел вместо престола великого князя: разбитый Руриком, он раскаивается, становясь его «верным подданным вечно». Рурик Екатерины II и Рурик Княжнина с его «добродетелями» на первый взгляд сходны, но у Екатерины, вполне естественно, отсутствует вторая половина образа Княжнинского Рурика—Рурик-тиран в будущем. При общности сюжетной схемы резкое различие идеологической трактовки: у Екатерины самоутверждение монархизма, у Княжнина—энергичная его критика с точки зрения ущемленной в своих политических правах аристократии.

Остается подвести итоги. Где же автор? Где его окончательное решение в вопросе о формах правления? Или выбор лучшей формы так и не был сделан Княжнинным, как утверждал один из поклонников трагедии, Воейков: «нерешенною осталася борьба величья царского с величем гражданина». Колебаний быть не может: не только Пренест и Вадим, герои Княжнина, защищают аристократическое правление; сам писатель стоит за ними; слова их—слова автора. На протяжении всей пьесы Вадим остается верным своим аристократическим взглядам; они не сокрушены; его победила сила войска Рурика, а не сила его аргументов. Смерть свою Вадим рассматривает как освобождение от власти тирана, как протест против нее. Для автора он—герой, и героизм его признает даже враг, Рурик, говоря Рамиде: «Друг верный общества, герой наш, твой отец...»; после победы над ним, он хочет «объять колена героя и отца». Наоборот, для Вадима Рурик навсегда остается тираном, «рабов властителем». Следует указать, что в отношении вельмож у Княжнина та же «героическая» фразеология, которая была отмечена в характеристике Вадима (они—«героев сонм», «держава истребила к отечеству ту страсть, которая граждан героями творила»). Если Вадим ни в чем не уступает Рурику, то Рурик, наоборот, готов вступить в содружество с ним. Мы в праве отождествлять Вадима и Княжнина, полагая, что Вадим—герой, яростный враг самовластья, сражающийся за власть вельмож, признающий титул царя лишь в том случае, когда царь делит власть свою с вельможами,—является знаком автора. Княжнин в трагедии выступает как оппозиционер Екатерининскому бюрократическому самодержавию, как представитель дворянской фронды, приведшей в скором времени к дворцовому перевороту (убийству Павла I), а произведение его было политическим средством во внутри-классовой борьбе, которую вели в XVIII в. потомки старого боярства с самодержавием, опиравшимся на среднее дворянство. Остроту этого оружия прекрасно ощутила Екатерина и поспешила обезвредить его, подвергнув сожжению.

Слишком решительные меры, принимавшиеся правительством для полной нейтрализации произведений дворянской оппозиции, объясняют, почему лишь немногие из них увидели свет; в рукописях они хранились авторами, как хранил их и Княжнин; из тайственных намеков Глинки мы знаем о крамольной рукописи «Горе моему отечеству». Рукописная трагедия «Ольга», менее дерзновенная, чем

«Вадим», дает лишнее подтверждение, что выпады Княжнина в «Вадиме» против Екатерины и самодержавия не случайны и что писатель далеко не всегда был примерным и верным их слугою, как изображает его панегирическая биография 3-го издания. В виду неизвестности «Ольги» придется остановиться несколько подробнее на ее содержании. Трагедия написана обычным александрийским стихом, с чередующимися женскими и мужскими рифмами.

Действующие лица

Ольга—вдовствующая супруга великого русского князя.

Мал—князь древлянский, подвластный русским князьям, похитивший престол русский.

Святослав—сын Ольги.

Волод—вельможа, воспитавший Святослава в лесах.

Мирвед—наперсник Ольги.

Всевеста—наперсница Ольгина.

Зловред—наперсник Малов.

Воины.

Жрецы.

Первое действие. В течение пятнадцати лет Ольга находится в неволе у Мала, убившего Игоря и двух ее сыновей и завладевшего русским престолом. Она жаждет отомстить Малу и надежды возлагает на сына своего Святослава, спасенного ею от убийцы мужа и отданного на воспитание Володу. Оба живут в неизвестности, «в лесах». Чтобы упрочить свою власть, Мал хочет жениться на Ольге, которая колеблется, не зная, что выбрать: брак с ненавистным ей тираном или заключение в темнице. Нерешительность ее поддерживается ожиданием скорого появления Святослава. Мал, зная о Святославе, боится его и решает убить.

Второе действие. Ольга узнает, что в город приведен неизвестный юноша, совершивший убийство. Она хочет его увидеть, предполагая в нем убийцу сына. В действительности же это Святослав, который, защищаясь, убил юношу, напавшего на него. Ольга чувствует влечение к Святославу, как и Святослав, глубоко взволнованный встречей с Ольгой. Но Ольга убеждается, что перед ней убийца ее сына, так как у него нашли меч Игоря, будто бы снятый им с убитого. Ольга хочет своей рукой казнить мнимого убийцу своего сына.

Третье действие. Появляется Волод, разыскивающий Святослава и узнающий об убийстве Святослава, о горе Ольги, которая готовится к казни. Она заносит меч над Святославом, но ее останавливает Волод, открывающий, что юноша, обреченный на казнь,—Святослав. У Мала, видящего, что Ольга не хочет подвергнуть казни убийцу своего сына, закрадываются сомнения, и он сам хочет его казнить.

Четвертое действие. Мал твердо решил казнить Святослава, желая показать, что он разделяет горе матери. Когда отдан приказ убить юношу, Ольга открывает, что он ее сын. Мал попрежнему хочет жениться на Ольге, усыновить Святослава, который считает это для себя бесчестьем.

Пятое действие. Все готово к венчанию Ольги и Мала; Святослав пронзает мечом Мала; воины хотят его схватить; он объявляет себя сыном Игоря, Волод появляется с народом и подтверждает его слова. Все на коленях перед Святославом, в заключение произносящим:

Коль будет щастлив Росс, коль будет он спокоен,

Коль подданных любви пребуду я достоен,

Когда народ меня своим отцом почтет,

Вот слава вся моя, иной мне славы нет,

Народная любовь есть твердый столп державы.

Сердцами обладать нет лучшей в свете славы.

Нас не интересует сейчас вопрос об источниках трагедии, о ее несомненной связи с «Меропой» Вольтера; нам важно отметить однородную с «Вадимом» классовую целеустремленность. Многие положения пьесы могли восприниматься как намеки на события дворцовой жизни, в частности жизни Екатерины. Мал, древлянский князь, варвар, иноземец, захвативший русский престол, но не совершающий ничего злодейского: Ольга спокойно живет при его дворе, замышляя переворот в пользу своего сына; Мал хочет вступить с нею в брак, а главного своего соперника, Святослава, усыновить и преподать ему науку управления:

Служа, учись при мне, как скипетром владеть,
 О благе общества неусыпимо бдеть,
 Себе единому быть должным славной властью.

Свой захват власти у «россов» Мал объясняет не «злодейством», а мщением за обиду, нанесенную россами древлянам. Тем не менее целым потоком изливает Княжнин на своего героя эпитеты «злодей» и «тиран». Авторское негодование объясняется тем, что у власти находится не тот, кто по своему происхождению имеет больше оснований быть на престоле и кто «во бедности» и «гладе» скрывается «в лесах», «в пустыне». Не была ли Екатерина II тем же Малом на престоле—иноземка, захватившая в свои руки власть и ставшая тираном (ср. Щербатов, вышеприведенная характеристика Екатерины из сочинения «О повреждении нравов в России»); не было ли подобных фактов в истории XVIII века? Родовитое дворянство, Рюриковичи, потомки великих князей, полагающие, что только им должна принадлежать власть, прозябают, лишены политического значения. И трагедия Княжнина превращается в спор между Малом и Святославом о том, достаточно ли «породы», чтобы претендовать на власть. В этом споре ясно выступает точка зрения дворянской аристократии, подтверждающей свои претензии на власть своим происхождением (Святослав «владеть родился», потому что у него «геройска кровь прехрабрых толь князей, которы властью давили мир своей»). За Святослава только «порода» и вытекающие из нее врожденные свойства: доблесть, честь, геройство. Он «врожденну вдальс свойству, оставил тень лесов, чтоб вслед итти геройству»; он «бесчестие одно нещастьем только чтил»; он несокрушим: «сей твердости не зрел из низких я ни в ком», говорит о нем Мал, полагающий, что «предрассуждение о крови и о роде» не позволяет ему чувствовать себя прочным на престоле, хотя он и хороший правитель.

Но раб такой, как я, достойный князем быть,
 Могущий царствовать, земных владык учить,
 Удобен твоему казать путь сыну к славе
 И первой кто достиг над смертными к державе,
 Не родом был он князь, достоин был владеть,
 Преславных праотцев нет нужды мне иметь.
 Породой славные на свете суть не редки.
 Престол мой есть мой род, мои победы предки.
 Пускай твой придет сын, воспитанный в лесах,
 Учиться у меня владети в сих странах.
 Я славы в тяжкий путь его наставлю младость,

так как «Не славный нужен род, но мудрое правленье». Тем не менее «порода» побеждает над «мудрым правлением», и Святослав получает власть убийством Мала, «геройску кровь в себе свидетельствуя».

Оппозиционной аристократии претила всякого рода служба при дворе, и в трагедии—энергичный выпад против придворных льстецов, готовых служить каждому, имеющему власть. Приближенные Ольги забыли ее милости, изменили ей.

И в бедствии своем презренна я и теми,
 Которых я тогда, как щастлива была,
 На верх величия и щастья возвела.
 Се оные льстецы предшествуют тирану,
 Изменники сии мою сугубят рану.

Святослав выступает с той же характеристикой придворных, что и Ольга:

Оставим мы толпу сих низких человек,
 Которые зыбям морей подобясь в век
 Туда текут, куда ветер щастия подует.
 И сын твой на себя зато днесь негодует,
 Что он унизился себя надеждой льстить
 Сих пресмыкающих своей подпорой чтить.
 Оставим тварей сих злодея обожати
 И станем на богов, на правду уповати.

«Ольга» Княжнина интересна не только тем, что подтверждает наше положение о наличии оппозиционно-аристократических тенденций у Княжнина, она намечает также некоторые новые пути в преодолении устойчивых штампов трагедии. Можно думать, что для Княжнина уж не столь характерна «переимчивость», подражательность, упорное следование за иностранными образцами, присвоение отдельных

спен, ситуаций, монологов популярных французских трагедий, о чем неоднократно писалось. У любого писателя встречаются «общие места», и не так существенно их наличие, как важны тенденции к их преодолению. Как раз в области сюжетной, именно там, где больше всего отмечена его подражательность, следует видеть борьбу с установившимися канонами. Княжнин стремился отойти от сюжетов, взятых из античной истории, обращаясь к русской и пытаясь выйти за пределы «исторического баснословия» по Татищеву, образцы которого он дал и в «Росславе», и в «Владисане». Место действия последнего—мифический Славянск, а действующие лица измышлены, отнюдь не историчны. Но он шагнул затем дальше других, от Хорова, Синава и Трувора через Вадима и Рурика добравшись даже до Ольги, киевлян и древлян, до лесов и пустыни, в которых скрывается Святослав. Другим смельчаком, правда, был еще Сумароков с «Димитрием Самозванцем»; у Хераскова не хватило такой храбрости, и, выбрав героем Бориса Годунова, он превратил его в «Борислава», переодев соответственным образом и других действующих лиц. Интересное свидетельство на этот счет имеется в «Драматическом словаре» 1787 г.: «Вся трагедия была сочинена под другими именами; некоторые обстоятельства принудили переменить оные и поставить вымышленные. При чем должно упомянуть, что пятый акт совсем переменен и при выборе других имен сочинен новый». Это свидетельство, с одной стороны, а с другой—самый сюжет, показ Борислава—Бориса Годунова в момент аналогичный Пушкинскому Годунову (вообще «Борислав» и «Борис Годунов» напрашиваются на сопоставление), заставляют предполагать, что Херасков побоялся вывести исторических лиц. Борислава Хераскова, как и Бориса Годунова Пушкина терзает совесть: он мучим убийствами, казнями, совершенными им для упрочения своего на престоле, который не должен был достаться ему, человеку низкой породы. Его последнее преступление связано с желанием удалить мнимого врага, Пренеста, жениха его дочери Флавии, которая, как и Ксения, дочь Годунова, очень любит своего жениха и в отчаянии от мысли его потерять. Боярин Вандор, приближенный Борислава, не имеет в трагедии роли наперсника, а как Шуйский, ведет двойную игру он, доверенное лицо Борислава, предает его.

А Ольгу выводить было еще рискованнее: ведь как никак на сцене должна была бы явиться будущая «благодарная великая княгиня Ольга», причтенная к лику святых. В XIX в. театральная цензура запрещала появление на сцене царей из дома Романовых: например, выход Екатерины, в «Пиковой даме» лишь возвещался перед занавесом.

Для «Ольги» характерны типичные для Княжнина сентенции, крылатые слова, которые ценил в нем Пушкин: «На свете все тиран иль все на свете жертва», «Где злоба властвует, законы там бессильны», «Хоть мал, хотя велик, мы все подвластны бедству, и все несчастны мы», «Когда ты князь, меня ты должен защищать».

Подводя итог обзору литературного наследия Княжнина, следует еще раз подчеркнуть: буржуазный миф о Княжнине-революционере должен быть отброшен навсегда; нет нужды фальсифицировать наследство писателя, чтобы мнимой его революционностью протащить его в нашу эпоху; оппозиционные настроения Княжнина не созвучны нам, но нужно было пересмотреть его наследство, чтобы увидеть настоящее лицо писателя.